

Владимир Набоков
Лолита

Владимир
Набоков

N



CoRPrvS

Лолита

18+

«Лолита»: Издательство АСТ:CORPUS; Москва; 2021
 ISBN 978-5-17-137387-0

Аннотация

<*p*>Сорокалетний литератор и рантье, перебравшись из Парижа в Америку, влюбляется в двенадцатилетнюю провинциальную школьницу, стремление обладать которой становится его губительной манией. Принесшая Владимиру Набокову (1899–1977) мировую известность, технически одна из наиболее совершенных его книг – дерзкая, глубокая, остроумная, пронзительная и живая, – «Лолита» (1955) неизменно делит читателей на две категории: восхищенных ценителей яркого искусства и всех прочих.</*p*><*p*>В середине 60-х годов Набоков создал русскую версию своей любимой книги, внеся в нее различные дополнения и уточнения. Русское издание увидело свет в Нью-Йорке в 1967 году. Несмотря на запрет, продлившись до 1989 года, «Лолита» получила в СССР широкое распространение и оказала значительное влияние на всю последующую русскую литературу.</*p*><*p*><*br*></*p*><*p*>В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.</*p*>

Владимир Набоков Лолита

Copyright © 1955, 1967 by Vladimir Nabokov

All rights reserved

© А. Бабиков, редакторская заметка, примечания, 2021

© А. Бондаренко, Д. Черногаев, художественное оформление, макет, 2021

© ООО “Издательство Аст”, 2021

Издательство CORPUS ®

* * *

От редактора настоящего издания

7 апреля 1947 г. Набоков сообщил Эдмунду Уилсону, что пишет «небольшой роман о человеке, любившем маленьких девочек, который будет называться “Королевство у моря”». К лету 1950 г. Набоков расширил свой замысел до романа в двух частях и написал вчerne двенадцать глав первой части. Работа над книгой продолжалась с перерывами до конца 1953 г. Предложив роман нескольким американским издателям и получив отказ, Набоков передал рукопись в парижское издательство «Olympia Press», которое выпустило «Лолиту» в двух томах в сентябре 1955 г.

Американскому изданию предшествовала публикация большого отрывка из романа в журнале «Anchor Review» в январе 1957 г., предпринятая с целью подготовки общественного мнения к выходу «Лолиты» в свет. Вера Набокова писала сыну Дмитрию 23 октября 1956 г.: «Был интересный разговор о “Лолите”, которую все интеллигентные люди признают замечательной и талантливейшей книгой, а только идиоты или хамы принимают за другое. Кусок “Лолиты” будет в хорошем журнале, в Америке; кое-кто собирается писать о ней, а в одном журнале (Хадсон-Ревью) она уже упоминалась с почтением». Книга вышла в издательстве «G. P. Putnam’s Sons» в июле 1958 г. с послесловием Набокова «О книге, озаглавленной “Лолита”».

В 1963–1965 гг. Набоков в сотрудничестве с женой перевел роман на русский язык, написал «Постскриптум к русскому изданию» и начал готовить публикацию перевода в нью-йоркском издательстве «Phaedra», зная о том, что официально книга не будет допущена в Советский Союз. В интервью журналу «Life» 18 августа 1964 г. на вопрос «Какие из Ваших сочинений принесли Вам наибольшее удовлетворение?» Набоков ответил так:

Я бы сказал, что из всех моих вещей «Лолита» дольше других продолжает приятно согревать меня своим теплом, – может быть, оттого, что это самая целомудренная, самая умозрительная и наиболее искусная по своему замыслу из всех моих книг. Я, возможно, несу ответственность за то странное обстоятельство, что родители перестали нарекать своих дочерей Лолитами. Мне передавали, что после 1956 года кличку Лолита давали молодым пуделикам, но именем Лолита новорожденных больше не называли. Доброжелатели пытались переводить «Лолиту» на русский язык, но результаты оказались столь плачевными, что мне самому пришлось взяться за перевод. Слово «jeans» в русских словарях толкуется как «широкие короткие брюки» – определение совершенно непригодное¹.

Русский перевод «Лолиты» вышел в сентябре 1967 г. Несмотря на обилие опечаток и разного рода неисправностей, в 1976 г. Набоков дал согласие издательству «Ардис» перепечатать текст русской «Лолиты» без изменений. Печатается по первому изданию с исправлением замеченных опечаток и сохранением некоторых особенностей орфографии, транслитерации и пунктуации Набокова. Пропущенный при переводе гл. 3 части II фрагмент текста (от слов «Еще одна встряска» и до слов «полное изнеможение») восстановлен в переводе, подготовленном Д. В. Набоковым в 2007 г.

* * *

Посвящается моей жене

Предисловие

«Лолита, Исповедь Светлокожего Вдовца»: таково было двойное название, под которым автор настоящей заметки получил странный текст, возглавляемый ею. Сам «Гумберт Гумберт» умер в тюрьме от закупорки сердечной аорты 16-го ноября 1952 г., за несколько дней до начала судебного разбирательства своего дела. Его защитник, мой родственник и добрый друг Клэрэнс Кларк (в настоящее время адвокат, приписанный к Колумбийскому Окружному Суду), попросил меня проредактировать манускрипт, основываясь на завещании своего клиента, один пункт коего уполномочивал моего почтенного кузена принять по своему усмотрению все меры, относящиеся до подготовки «Лолиты» к печати. На решение г-на Кларка, быть может, повлиял тот факт, что избранный им редактор как раз только что удостоился премии имени Полинга за скромный труд («Можно ли сочувствовать чувствам?»), в котором подвергались обсуждению некоторые патологические состояния и извращения.

Мое задание оказалось проще, чем мы с ним предполагали. Если не считать исправления явных описок да тщательного изъятия некоторых цепких деталей, которые, несмотря на старания самого «Г. Г.», еще уцелели в тексте, как некие вехи и памятники (указатели мест и людей, которых приличие требовало обойти молчанием, а человеколюбие – пощадить), можно считать, что эти примечательные записи представлены в неприкосновенности. Причудливый псевдоним их автора – его собственное измышление; и само собой разумеется, что эта маска – сквозь которую как будто горят два гипнотических глаза – должна была остаться на месте согласно желанию ее носителя. Меж тем как «Гейз»

¹ Русский перевод приводится по машинописному тексту отложившихся в нью-йоркском архиве Набокова нескольких страниц из несостоявшейся русской версии книги интервью и статей «Strong Opinions» («Стойкие убеждения»), названной «Кредо». (Здесь и далее – прим. ред.)

всего лишь рифмуется с настоящей фамилией героини, ее первое имя слишком тесно вплетается в сокровеннейшую ткань книги, чтобы его можно было заменить; впрочем (как читатель сам убедится), в этом и нет фактической необходимости. Любопытствующие могут найти сведения об убийстве, совершенном «Г. Г.», в газетах за сентябрь – октябрь 1952 г.; его причины и цель продолжали бы оставаться тайной, если бы настоящие мемуары не попали в световой круг моей настольной лампы.

В угоду старомодным читателям, интересующимся дальнейшей судьбой «живых образцов» за горизонтом «правдивой повести», могу привести некоторые указания, полученные от г-на «Виндмюллера» из «Рамздэля», который пожелал остаться неназванным, дабы «длинная тень прискорбной и грязной истории» не дотянулась до того городка, в котором он имеет честь проживать. Его дочь «Луиза» сейчас студентка-второкурсница. «Мона Даль» учится в университете в Париже. «Рита» недавно вышла замуж за хозяина гостиницы во Флориде. Жена «Ричарда Скиллера» умерла от родов, разрешившись мертвой девочкой, 25-го декабря 1952 г., в далеком северо-западном поселении Серой Звезды. Г-жа Вивиан Дамор-Блок (Дамор – по сцене, Блок – по одному из первых мужей) написала биографию бывшего товарища под каламбурным заглавием «Кумир мой», которая скоро должна выйти в свет; критики, уже ознакомившиеся с манускриптом, говорят, что это лучшая ее вещь. Сторожа кладбищ, так или иначе упомянутых в мемуарах «Г. Г.», не сообщают, встает ли кто из могилы.

Для читателя, рассматривающего «Лолиту» просто как роман, ситуации и эмоции, в нем описанные, остались бы раздражительно-неясными, если бы они были обесцвечены при помощи пошлых иносказаний. Правда, во всем произведении нельзя найти ни одного непристойного выражения; скажу больше: здоровяк-филистер, приученный современной условностью принимать безо всякой брезгливости целую россыпь заборных словечек в самом банальном американском или английском романе, будет весьма шокирован отсутствием оных в «Лолите». Если же, ради успокоения этого парадоксального ханжи, редактор попробовал бы разбавить или исключить те сцены, которые при известном повороте ума могут показаться «сногсшибательными» (смотри историческое решение, принятное достопочтенным судьей Джоном Вульси 6-го декабря 1933 г. по поводу другой, значительно более откровенной книги), пришлось бы вообще отказаться от напечатания «Лолиты», ибо именно те сцены, в которых досужий бесстыдник мог бы усмотреть произвольную чувственность, представляют собой на самом деле конструкционно необходимый элемент в развитии трагической повести, неуклонно движущейся к тому, что только и можно назвать моральным апофеозом. Циник скажет, что на то же претендует и профессиональный порнограф; эрудит возразит, что страстная исповедь «Г. Г.» сводится к буре в пробирке, что каждый год не меньше 12 % взрослых американцев мужского пола, по скромному подсчету, – ежели верить д-ру Бианке Шварцман (заимствую из частного сообщения), – проходит через тот особый опыт, который «Г. Г.» описывает с таким отчаянием, и что, пойди наш безумный мемуарист в то роковое лето 1947 года к компетентному психопатологу, никакой беды бы не случилось. Все это так, – но ведь тогда не было бы этой книги.

Да простится сему комментатору, если он повторит еще раз то, на чем он уже неоднократно настаивал в своих собственных трудах и лекциях, а именно, что «неприличное» бывает зачастую равнозначуще «необычному». Великое произведение искусства всегда оригинально; оно по самой своей сущности должно потрясать и изумлять, т. е. «шокировать». У меня нет никакого желания прославлять г-на «Г. Г.». Нет сомнения в том, что он отвратителен, что он низок, что он служит ярким примером нравственной проказы, что в нем соединены свирепость и игривость, которые, может быть, и свидетельствуют о глубочайшем страдании, но не придают привлекательности некоторым его излияниям. Его чудаковатость, конечно, тяжеловата. Многие его случайные отзывы о жителях и природе Америки смешны. Отчаянная честность, которой трепещет его исповедь, отнюдь не освобождает его от ответственности за дьявольскую изощренность. Он

ненормален. Он не джентльмен. Но с каким волшебством певучая его скрипка возбуждает в нас нежное сострадание к Лолите, заставляя нас зачитываться книгой, несмотря на испытываемое нами отвращение к автору!

Как описание клинического случая, «Лолите», несомненно, суждено стать одним из классических произведений психиатрической литературы, и можно поручиться, что через десять лет термин «нимфетка» будет в словарях и газетах. Как художественное произведение, «Лолита» далеко выходит за пределы покаянной исповеди; но гораздо более важным, чем ее научное значение и художественная ценность, мы должны признать нравственное ее воздействие на серьезного читателя, ибо этот мучительный анализ единичного случая содержит в себе и общую мораль. Беспризорная девочка, занятая собой матерью, задыхающейся от похоти маньяк – все они не только красочные персонажи единственной в своем роде повести; они, кроме того, нас предупреждают об опасных уклонах; они указывают на возможные бедствия. «Лолита» должна бы заставить нас всех – родителей, социальных работников, педагогов – с вящей бдительностью и проницательностью предаться делу воспитания более здорового поколения в более надежном мире.

*Джон Рэй, д-р философии
Видворт, Массачусетс
5 августа 1955 года*

Часть I

1

Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел. Грех мой, душа моя. Ло-ли-та: кончик языка совершает путь в три шажка вниз по нёбу, чтобы на третьем толкнуться о зубы. Ло. Ли. Та.

Она была Ло, просто Ло, по утрам, ростом в пять футов (без двух вершков и в одном носке). Она была Лола в длинных штанах. Она была Долли в школе. Она была Долорес на пунктире бланков. Но в моих объятьях она была всегда: Лолита.

А предшественницы-то у нее были? Как же – были... Больше скажу: и Лолиты бы не оказалось никакой, если бы я не полюбил в одно далекое лето одну изначальную девочку. В некотором княжестве у моря (почти как у По).

Когда же это было, а?

Приблизительно за столько же лет до рождения Лолиты, сколько мне было в то лето. Можете всегда положиться на убийцу в отношении затейливости прозы.

Уважаемые присяжные женского и мужского пола! Экспонат Номер Первый представляет собой то, чему так завидовали Эдгаровы серафимы – худо осведомленные, простодушные, благороднокрылые серафимы... Полюбуйтесь-ка на этот клубок терний.

2

Я родился в 1910-ом году, в Париже. Мой отец отличался мягкостью сердца, легкостью нрава – и целым винегретом из генов: был швейцарский гражданин, полуфранцуз-полувавстриец, с Дунайской прожилкой. Я сейчас раздам несколько прелестных, глянцевито-голубых открыток.

Ему принадлежала роскошная гостиница на Ривьере. Его отец и оба деда торговали вином, бриллиантами и шелками (распределите сами). В тридцать лет он женился на англичанке, дочке альпиниста Джерома Дунна, внучке двух Дорсетских пасторов, экспертов по замысловатым предметам: палеопедологии и Эоловым арфам (распределите сами).

Обстоятельства и причина смерти моей весьма фотогеничной матери были довольно оригинальные (пикник, молния); мне же было тогда всего три года, и кроме какого-то теплого тупика в темнейшем прошлом у меня ничего от нее не осталось в котловинах и впадинах памяти, за которыми – если вы еще в силах выносить мой слог (пишу под надзором) – садится солнце моего младенчества: всем вам, наверное, знакомы эти благоуханные остатки дня, которые повисают вместе с мошкой над какой-нибудь цветущей изгородью и в которые вдруг попадаешь на прогулке, проходишь сквозь них, у подножья холма, в летних сумерках – глухая теплынь, золотистые мошки.

Старшая сестра матери, Сибилла, бывшая замужем за двоюродным братом моего отца – вскоре, впрочем, бросившим ее, – жила у нас в доме в качестве не то бесплатной гувернантки, не то экономки. Впоследствии я слышал, что она была влюблена в моего отца и что однажды, в дождливый денек, он легкомысленно воспользовался ее чувством – да все позабыл, как только погода прояснилась. Я был чрезвычайно привязан к ней, несмотря на суровость – роковую суровость – некоторых ее правил. Может быть, ей хотелось сделать из меня более добродетельного вдовца, чем отец. У тети Сибиллы были лазоревые, окаймленные розовым глаза и восковой цвет лица. Она писала стихи. Была поэтически суеверна. Говорила, что знает, когда умрет – а именно когда мне исполнится шестнадцать лет, – и так оно и случилось. Ее муж, испытанный вояжер от парфюмерной фирмы, проводил большую часть времени в Америке, где в конце концов основал собственное дело и приобрел кое-какое имущество.

Яросчастливым, здоровым ребенком в ярком мире книжек с картинками, чистого песка, апельсиновых деревьев, дружелюбных собак, морских далей и улыбающихся лиц. Вокруг меня великолепная гостиница «Мирана Палас» вращалась частной вселенной, выбеленным мелом космосом, посреди другого, голубого, громадного, искривившегося снаружи. От кухонного мужика в переднике до короля в летнем костюме все любили, все баловали меня. Пожилые американки, опираясь на трость, клонились надо мной, как Пизанские башни. Разорившиеся русские княгини не могли заплатить моему отцу, но покупали мне дорогие конфеты. Он же, *mon cher petit papa*, брал меня кататься на лодке и ездить на велосипеде, учил меня плавать, нырять, скользить на водяных лыжах, читал мне «Дон-Кихота» и «Les Misérables», и я обожал и чтил его и радовался за него, когда случалось подслушать, как слуги обсуждают его разнообразных любовниц – ласковых красавиц, которые очень много мною занимались, воркуя надо мной и проливая драгоценные слезы над моим вполне веселым безматеринством.

Я учился в английской школе, находившейся в нескольких километрах от дома; там я играл в «ракетс» и «файвс» (ударяя мяч об стену ракеткой или ладонью), получал отличные отметки и прекрасно уживался как с товарищами, так и с наставниками. До тринадцати лет (т. е. до встречи с моей маленькой Аннабеллой) было у меня, насколько помнится, только два переживания определенно полового порядка: торжественный, благопристойный и исключительно теоретический разговор о некоторых неожиданных явлениях отрочества, происходивший в розовом саду школы с американским мальчиком, сыном знаменитой тогда кинематографической актрисы, которую он редко видел в мире трех измерений; и довольно интересный отклик со стороны моего организма на жемчужно-матовые снимки с бесконечно нежными теневыми выемками в пышном альбоме Пишона «La Beauté Humaine», который я слишком однажды извлек из-под груды мрамористых томов лондонского «Graphic» в гостиничной библиотеке. Позднее отец, со свойственным ему благодушием, дал мне сведения этого рода, которые по его мнению могли мне быть нужны; это было осенью 1923-го года, перед моим поступлением в гимназию в Лионе (где мне предстояло провести три зимы); но именнолетом того года отец мой, увы, отсутствовал – разъезжал по Италии вместе с Mme de R. и ее дочкой – так что мне некому было пожаловаться, не с кем посоветоваться.

Аннабелла была, как и автор, смешанного происхождения: в ее случае – английского и голландского. В настоящее время я помню ее черты куда менее отчетливо, чем помнил их до того, как встретил Лолиту. У зрительной памяти есть два подхода: при одном удается искусно воссоздать образ в лаборатории мозга, не закрывая глаз (и тогда Аннабелла представляется мне в общих терминах, как то: «медового оттенка кожа», «тоненькие руки», «подстриженные русые волосы», «длинные ресницы», «большой яркий рот»); при другом же – закрываешь глаза и мгновенно вызываешь на темной внутренней стороне век объективное, оптическое, предельно верное воспроизведение любимых черт: маленький призрак в естественных цветах (и вот так я вижу Лолиту).

Позвольте мне поэтому в описании Аннабеллы ограничиться чинным замечанием, что это была обаятельная девочка на несколько месяцев моложе меня. Ее родители, по фамилии Ли (Leigh), старые друзья моей тетки, были столь же, как тетя Сибилла, щепетильны в отношении приличий. Они нанимали виллу неподалеку от «Миранны». Этого лысого, бурого господина Ли и толстую, напудренную госпожу Ли (рожденную Ванесса ван Несс) я ненавидел люто. Сначала мы с Аннабеллой разговаривали, так сказать, по окружности. Она то и дело поднимала горсть мелкого пляжного песочка и давала ему сыпаться сквозь пальцы. Мозги у нас были настроены в тон умным европейским подросткам того времени и той среды, и я сомневаюсь, чтобы можно было сыскать какую-либо индивидуальную талантливость в нашем интересе ко множественности населенных миров, теннисным состязаниям, бесконечности, солипсизму и тому подобным вещам. Нежность и уязвимость молодых зверьков возбуждали в обоих нас то же острое страдание. Она мечтала быть сестрой милосердия в какой-нибудь голодящей азиатской стране; я мечтал быть знаменитым шпионом.

Внезапно мы оказались влюбленными друг в дружку – безумно, неуклюже, бесстыдно, мучительно; я бы добавил – безнадежно, ибо наше неистовое стремление ко взаимному обладанию могло бы быть утолено только, если бы каждый из нас в самом деле впитал и усвоил каждую частицу тела и души другого; между тем мы даже не могли найти места, где бы совокупиться, как без труда находят дети трущоб. После одного неудавшегося ночного свидания у нее в саду (о чем в следующей главке) единственное, что нам было разрешено, в смысле встреч, – это лежать в досягаемости взрослых, зрительной, если не слуховой, на той части пляжа, где было всего больше народу. Там, на мягком песке, в нескольких шагах от старших, мы валялись все утро в оцепенелом исступлении любовной муки и пользовались всяkim благословенным изъяном в ткани времени и пространства, чтобы притронуться друг к дружке: ее рука, сквозь песок, подползала ко мне, придвигалась все ближе, переставляя узкие загорелые пальцы, а затем ее перламутровое колено отправлялось в то же длинное, осторожное путешествие; иногда случайный вал, сооруженный другими детьми помоложе, служил нам прикрытием для беглого соленого поцелуя; эти несовершенные соприкосновения доводили наши здоровые и неопытные тела до такой степени раздражения, что даже прохлада голубой воды, под которой мы продолжали преследовать свою цель, не могла нас успокоить.

Среди сокровищ, потерянных мной в годы позднейших скитаний, была снятая моей теткой маленькая фотография, запечатлевшая группу сидящих за столиком тротуарного кафе: Аннабеллу, ее родителей и весьма степенного доктора Купера, хромого старика, который в то лето ухаживал за тетей Сибиллой. Аннабелла вышла не слишком хорошо, так как была схвачена в то мгновение, когда она собралась пригнуть свой *chocolat glacé*, и только по худым голым плечам да пробору можно было узнать ее (поскольку помню снимок) среди солнечной мути, в которую постепенно и невозвратно переходила ее красота; я же, сидевший в профиль, несколько поодаль от других, вышел с какой-то драматической рельефностью: угрюмый густобровый мальчик в темной спортивной рубашке и белых хорошо сшитых шортах, положивший ногу на ногу и глядевший в сторону. Фотография была снята в последний день нашего рокового лета, всего за несколько минут до нашей второй и

последней попытки обмануть судьбу. Под каким-то крайне прозрачным предлогом (другого шанса не предвиделось, и уже ничто не имело значения) мы удалились из кафе на пляж, где нашли наконец уединенное место, и там, в лиловой тени розовых скал, образовавших нечто вроде пещеры, мы наскоро обменялись жадными ласками, единственным свидетелем коих были оброненные кем-то темные очки. Я стоял на коленях и уже готовился овладеть моей душенькой, как внезапно двое бородатых купальщиков – морской дед и его братец – вышли из воды с возгласами непристойного ободрения, а четыре месяца спустя она умерла от тифа на острове Корфу.

4

Снова и снова перелистываю эти жалкие воспоминания и все допытываюсь у самого себя, не оттуда ли, не из блеска ли того далекого лета пошла трещина через всю мою жизнь? Или, может быть, острое мое увлечение этим ребенком было лишь первым признаком врожденного извращения? Когда стараюсь разобраться в былых желаниях, намерениях, действиях, я поддаюсь некоему обратному воображению, питающему аналитическую способность возможностями безграничными, так что всякий представляющийся мне прошлый путь делится без конца на развилины в одуряющее сложной перспективе памяти. Я уверен все же, что волшебным и роковым образом Лолита началась с Аннабеллы.

Знаю и то, что смерть Аннабеллы закрепила неудовлетворенность того бредового лета и сделалась препятствием для всякой другой любви в течение холодных лет моей юности. Духовное и телесное сливалось в нашей любви в такой совершенной мере, какая и не снилась нынешним, на все просто смотрящим подросткам с их нехитрыми чувствами и штампованными мозгами. Долго после ее смерти я чувствовал, как ее мысли текут сквозь мои. Задолго до нашей встречи у нас бывали одинаковые сны. Мы сличали вехи. Находили черты странного сходства. В июне одного и того же года (1919-го) к ней в дом и ко мне в дом, в двух несмежных странах, впорхнула чья-то канарейка. О, Лолита, если б ты меня любилатак!

Я приберег к концу рассказа об Аннабелле описание нашего плачевного первого свидания. Однажды поздно вечером ей удалось обмануть злостную бдительность родителей. В рощице нервных, тонколистых мимоз, позади виллы, мы нашли себе место на развалинах низкой каменной стены. В темноте, сквозь нежные деревца виднелись арабески освещенных окон виллы – которые теперь, слегка подправленные цветными чернилами чувствительной памяти, я сравнил бы с игральными картами (отчасти может быть потому, что неприятель играл там в бридж). Она вздрагивала и подергивалась, пока я целовал ее в уголок полураскрытых губ и в горячую мочку уха. Россынь звезд бледно горела над нами промеж силузтов удлиненных листьев: эта отзывчивая бездна казалась столь же обнаженной, как была она под своим легким платьицем. На фоне неба со странной ясностью так выделялось ее лицо, точно от него исходило собственное слабое сияние. Ее ноги, ее прелестные оживленные ноги, были не слишком тесно сжаты, и когда моя рука нашла то, чего искала, выражение какой-то русалочьей мечтательности – не то боль, не то наслаждение – появилось на ее детском лице. Сидя чуть выше меня, она в одинокой своей неге тянулась к моим губам, причем голова ее склонялась сонным, томным движением, которое было почти страдальческим, а ее голые коленки ловили, сжимали мою кисть и снова слабели. Ее дрожащий рот, кривясь от горечи таинственного зелья, с легким приподыханием приближался к моему лицу. Она старалась унять боль любви тем, что резко терла свои сухие губы о мои, но вдруг отклонялась с порывистым взмахом кудрей, а затем опять сумрачно льнула и позволяла мне пытаться ее раскрытыми устами, меж тем как я, велиководушно готовый ей подарить все – мое сердце, горло, внутренности, – давал ей держать в неловком кулачке скипетр моей страсти.

Помню запах какой-то пудры – которую она, кажется, крала у испанской горничной матери – сладковатый, дешевый, мускусный душок; он сливался с ее собственным

бисквитным запахом, и внезапно чаша моих чувств наполнилась до краев; неожиданная суматоха под ближним кустом помешала им перелиться. Мы застыли и с болезненным содроганием в жилах прислушались к шуму, произведенному, вероятно, всего лишь охотившейся кошкой. Но одновременно, увы, со стороны дома раздался голос госпожи Ли, звавший дочь с дико нарастающими перекатами, и доктор Купер тяжело прохромал с веранды в сад. Но эта мимозовая заросль, туман звезд, озnob, огонь, медовая роса и моя мука остались со мной, и эта девочка с наглаженными морем ногами и пламенным языком с той поры преследовала меня неотвязно — покуда наконец, двадцать четыре года спустя, я не рассеял наваждения, воскресив ее в другой.

5

Дни моей юности, как оглянусь на них, кажутся улетающим от меня бледным вихрем повторных лоскутов, как утренняя мятель употребленных бумажек, видных пассажиру американского экспресса в заднее наблюдательное окно последнего вагона, за которым они вются. В моих гигиенических сношениях с женщинами я был практичен, насмешлив и быстр. В мои университетские годы в Лондоне и Париже я удовлетворялся платными цыпками. Мои занятия науками были прилежны и пристальны, но не очень плодотворны. Сначала я думал стать психиатром, как многие неудачники; но я был неудачником особенным; меня охватила диковинная усталость (надо пойти к доктору — такое томление); и я перешел на изучение английской литературы, которым пробавляется не один поэт-пустоцвет, превратясь в профессора с трубочкой, в пиджаке из добротной шерсти. Париж тридцатых годов пришелся мне впору. Я обсуждал советские фильмы с американскими литераторами. Я сидел с уранистами в кафе «Des Deux Magots». Я печатал извилистые этюды в малочитаемых журналах. Я сочинял пародии — на Элиота, например:

Пускай фрейлейн фон Кульп, еще держась
За скобку двери, обернется... Нет,
Не двинусь ни за нею, ни за Фреской.
Ни за той чайкой...

Одна из моих работ, озаглавленная «Прустовская тема в письме Китса к Бенджамину Бейли», вызвала одобрительные ухмылки у шести-семи ученых, прочитавших ее. Я пустился писать «Краткую историю английской поэзии» для издателя с большим именем, а затем начал составлять тот учебник французской литературы (со сравнительными примерами из литературы английской) для американских и британских читателей, которому предстояло занимать меня в течение сороковых годов и последний томик которого был почти готов к напечатанию в день моего ареста.

Я нашел службу: преподавал английский язык группе взрослых парижан шестнадцатого округа. Затем в продолжение двух зим был учителем мужской гимназии. Иногда я пользовался знакомствами в среде психиатров и работников по общественному призрению, чтобы с ними посещать разные учреждения, как, например, сиротские приюты и школы для малолетних преступниц, где на бледных, со слившимися ресницами отроковиц я мог взирать с той полной безнаказанностью, которая нам даруется в сновидениях.

А теперь хочу изложить следующую мысль. В возрастных пределах между девятью и четырнадцатью годами встречаются девочки, которые для некоторых очарованных странников, вдвое или во много раз старше них, обнаруживают истинную свою сущность — сущность не человеческую, а нимфическую (т. е. демонскую); и этих маленьких избранниц я предлагаю именовать так: нимфетки.

Читатель заметит, что пространственные понятия я заменяю понятиями времени. Более того: мне бы хотелось, чтобы он увидел эти пределы, 9–14, как зримые очертания (зеркалистые отмели, алеющие скалы) очарованного острова, на котором водятся эти мои

нимфетки и который окружен широким туманным океаном. Спрашивается: в этих возрастных пределах все ли девочки – нимфетки? Разумеется, нет. Иначе мы, посвященные, мы, одинокие мореходы, мы, нимфолепты, давно бы сошли с ума. Но и красота тоже не служит критерием, между тем как вульгарность (или то хотя бы, что зовется вульгарностью в той или другой среде) не исключает непременно присутствия тех таинственных черт – той сказочно-странной грации, той неуловимой, переменчивой, душебуйственной, вкрадчивой прелести, – которые отличают нимфетку от сверстниц, несравненно более зависящих от пространственного мира единовременных явлений, чем от невесомого острова завороженного времени, где Лолита играет с ей подобными. Внутри тех же возрастных границ число настоящих нимфеток гораздо меньше числа некрасивых, или просто «миленьких», или даже «смазливых», но вполне заурядных, пухленьких, мешковатых, холоднокожих, человечьих по природе своей девочек, с круглыми животиками, с косичками, таких, которые могут или не могут потом превратиться в красивых, как говорится, женщин (посмотрите-ка на иную гадкую пышечку в черных чулках и белой шляпке, перевоплощающуюся в дивную звезду экрана). Если попросить нормального человека отметить самую хорошенькую на групповом снимке школьниц или герл-скаутов, он не всегда ткнет в нимфетку. Надобно быть художником и сумасшедшим, игралищем бесконечных скорбей, с пузырьком горячего яда в корне тела и сверхсладострастным пламенем, вечно пылающим в чутком хребте (о, как приходится нам ежиться и хорониться!), дабы узнать сразу, по неизъяснимым приметам – по слегка кошачьему очерку скул, по тонкости и шелковистости членов и еще по другим признакам, перечислить которые мне запрещают отчаяние, стыд, слезы нежности – маленького смертоносного демона в толпе обыкновенных детей: она-то, нимфетка, стоит среди них неузнанная и сама не чующая своей баснословной власти.

И еще: ввиду примата времени в этом колдовском деле, научный работник должен быть готов принять во внимание, что необходима разница в несколько лет (я бы сказал, не менее десяти, но обычно в тридцать или сорок – и до девяноста в немногих известных случаях) между девочкой и мужчиной для того, чтобы тот мог подпасть под чары нимфетки. Тут вопрос приспособления хрусталика, вопрос некоторого расстояния, которое внутренний глаз с приятным волнением превозмогает, и вопрос некоторого контраста, который разум постигает с судорогой порочной услады. «Когда я был ребенком и она ребенком была» (всё Эдгаровый перегар), моя Аннабелла не была для меня нимфеткой: я был ей ровня; задним числом я сам был фавненком на том же очарованном острове времени; но нынче, в сентябре 1952-го года, по истечении двадцати девяти лет, мне думается, что я могу разглядеть в ней исходное роковое наваждение. Мы любили преждевременной любовью, отличавшейся тем неистовством, которое так часто разбивает жизнь зрелых людей. Я был крепкий паренек и выжил; но отрава осталась в ране, и вот я уже мужал в лоне нашей цивилизации, которая позволяет мужчине увлекаться девушкой шестнадцатилетней, но не девочкой двенадцатилетней.

Итак, немудрено, что моя взрослая жизнь в Европе была чудовищно двойственна. Вовне я имел так называемые нормальные сношения с земнородными женщинами, у которых груди тыквами или грушами, внутри же я был сжигаем в адской печи сосредоточенной похоти, возбуждаемой во мне каждой встречной нимфеткой, к которой я, будучи законоуважающим трусом, не смел подступиться. Громоздкие человечьи самки, которыми мне дозволялось пользоваться, служили лишь паллиативом. Я готов поверить, что ощущения, мною извлекаемые из естественного соития, равнялись более или менее тем, которые испытывают нормальные большие мужчины, общаясь с нормальными большими женщинами в том рутинном ритме, который сотрясает мир; но беда в том, что этим господам не довелось, как довелось мне, познать проблеск несравненно более пронзительного блаженства. Тусклейший из моих к поллюции ведущих снов был в тысячу раз красочнее прелюбодеяний, которые мужественнейший гений или талантливейший импотент могли бы вообразить. Мой мир был расщеплен. Я чуял присутствие не одного, а двух полов, из коих

ни тот ни другой не был моим; оба были женскими для анатома; для меня же, смотревшего сквозь особую призму чувств, «они были столь же различны между собой, как мечта и мачта». Все это я теперь рационализирую, но в двадцать – двадцать пять лет я не так ясно разбирался в своих страданиях. Тело отлично знало, чего оно жаждет, но мой рассудок отклонял каждую его мольбу. Мной овладевали то страх и стыд, то безрассудный оптимизм. Меня душили общественные запреты. Психоаналисты манили меня псевдоосвобождением от либидобелиберды. То, что единственными объектами любовного трепета были для меня сестры Аннабеллы, ее наперсницы и кордебалет, мне казалось подчас предзнаменованием умопомешательства. Иногда же я говорил себе, что все зависит от точки зрения и что, в сущности, ничего нет дурного в том, что меня до одури волнуют малолетние девочки. Позволю себе напомнить читателю, что в Англии, с тех пор как был принят закон (в 1933-ем году) «О Детях и Молодых Особах», термин «герл-чайльд» (т. е. девочка) определяется как «лицо женского пола, имеющее от рода свыше восьми и меньше четырнадцати лет» (после чего, от четырнадцати до семнадцати, статут определяет это лицо как «молодую особу»). С другой стороны, в Америке, а именно в Массачусетсе, термин «уэйуард чайльд» (непутевое дитя) относится технически к девочке между семьью и семнадцатью годами, которая «общается с порочными и безнравственными лицами». Хью Броутон, полемический писатель времен Джемса Первого, доказал, что Рахаб была блудницей в десять лет. Все это крайне интересно, и я допускаю, что вы уже видите, как у меня пенится рот перед припадком – но нет, ничего не пенится, я простопускаю выщелком разноцветные блошки счастливых мыслей в соответствующую чашечку. Вот еще картинки. Вот Виргилий, который (цитирую старого английского поэта) «нимфетку в тоне пел одном», хотя по всей вероятности предпочитал перитон мальчика. Вот две из еще не созревших дочек короля Ахнатена² и его королевы Нефертити, у которых было шесть таких – нильских, бритоголовых, голеньких (ничего, кроме множества рядов бус), с мягкими коричневыми щенячьими брюшками, с длинными эбеновыми глазами, спокойно расположившиеся на подушках и совершенно целые после трех тысяч лет. Вот ряд десятилетних невест, которых пруждают сесть на фасциний – кол из слоновой кости в храмах классического образования. Брак и сожительство с детьми встречаются еще довольно часто в некоторых областях Индии. Так, восьмидесятилетние старики-лепчанцы сочетаются с восьмилетними девочками, и кому какое дело. В конце концов, Данте безумно влюбился в свою Беатриче, когда минуло только девять лет ей, такой искрящейся, крашеной, прелестной, в пунцовом платье с дорогими каменями, а было это в 1274-ом году, во Флоренции, на частном пиру, в веселом мае месяце. Когда же Петрарка безумно влюбился в свою Лаурину, она была белокурой нимфеткой двенадцати лет, бежавшей на ветру, сквозь пыль и цветень, сама как летящий цветок, среди прекрасной равнины, видимой с Воклюзских холмов.

Но давайте будем чопорными и культурными. Гумберт Гумберт усердно старался быть хорошим. Ей-богу, старался. Он относился крайне бережно к обыкновенным детям, к их чистоте, открытой обидам, и ни при каких обстоятельствах не посягнул бы на невинность ребенка, если бы хотя бы отдаленнейшая возможность скандала. Но как билось у бедняги сердце, когда среди невинной детской толпы он замечал ребенка-демона, «enfant charmante et fourbe» – глаза с поволокой, яркие губы, десять лет катогри, коли покажешь ей, что глядишь на нее. Так шла жизнь. Гумберт был вполне способен иметь сношения с Евой, но Лилит была той, о ком он мечтал. Почкообразная стадия в развитии грудей рано (в 10 7/10 лет) наступает в череде соматических изменений, сопровождающих приближение половой зрелости. А следующий известный нам признак – это первое появление (в 11 2/10 лет) пигментированных волосков. Моя чашечка полным-полна блошек.

Кораблекрушение. Коралловый остров. Я один с озябшей дочкой утонувшего пассажира. Душенька, ведь это только игра! Какие чудесные приключения я, бывало,

² Эхнатон.

воображал, сидя на твердой скамье в городском парке и притворяясь погруженным в мреющую книгу. Вокруг мирного эрудита свободно ревились нимфетки, как если бы он был приглядевшейся парковой статуей или частью светотени под старым деревом. Как-то раз совершенная красотка в шотландской юбочке с грохотом поставила тяжеловооруженную ногу подле меня на скамейку, дабы окунуть в меня свои голые руки и затянуть ремень роликового конька – и я растворился в солнечных пятнах, заменяя книжкой фильтровый лист, между тем как ее русые локоны падали ей на поцарапанное колено, и древесная тень, которую я с нею делил, пульсировала и таяла на ее икре, сиявшей так близко от моей хамелеоновой щеки. Другой раз рыжеволосая школьница повисла надо мною в вагоне метро, и оранжевый пушок у нее под мышкой был откровением, оставшимся на много недель у меня в крови. Я бы мог пересказать немало такого рода односторонних миниатюрных романов. Окончание некоторых из них бывало приправлено адовым снадобием. Бывало, например, я замечал с балкона, ночью, в освещенном окне через улицу, нимфетку, раздевающуюся перед услужливым зеркалом. В этой обособленности, в этом отдалении видение приобретало невероятно прелестную прелесть, которая заставляла меня, балконного зрителя, нестись во весь опор к своему одинокому утолению. Но с бесовской внезапностью нежный узор наготы, уже принявший от меня дар поклонения, превращался в озаренный лампой отвратительно голый локоть мужчины в исподнем белье, читающего газету у отворенного окна в жаркой, влажной, безнадежной летней夜里.

Скакание через веревочку. Скакание на одной ноге по размеченной мелом панели. Незабвенная старуха в черном, которая сидела рядом со мной на парковой скамье, на пыточной скамье моего блаженства (нимфетка подо мной старалась нащупать укатившийся стеклянный шарик), и которая спросила меня – наглая ведьма, – не болит ли у меня живот. Ах, оставьте меня в моем зацветающем парке, в моем мшистом саду. Пусть играют они вокруг меня вечно, никогда не взрослея.

6

Кстати: я часто спрашивал себя, что случалось с ними потом, с этими нимфетками. В нашем чугунно-решетчатом мире причин и следствий не могло ли содрогание, мною выкраденное у них, отразиться на их будущем? Вот, была моей – и никогда не узнает. Хорошо. Но не скажется ли это впоследствии, не напортил ли я ей как-нибудь в ее дальнейшей судьбе тем, что вовлек ее образ в свое тайное сладострастие? О, это было и будет предметом великих и ужасных сомнений!

Я выяснил, однако, во что они превращаются, эти обаятельные, сумасводящие нимфетки, когда подрастают. Помнится, брел я как-то под вечер по оживленной улице, весною, в центре Парижа. Тоненькая девочка небольшого роста прошла мимо меня скорым тропотком на высоких каблучках; мы одновременно оглянулись; она остановилась, и я подошел к ней. Голова ее едва доходила до моей нагрудной шерсти; лицо было круглое, с ямочками, какое часто встречается у молодых француженок. Мне понравились ее длинные ресницы и жемчужно-серый *tailleur*, облегавший ее юное тело, которое еще хранило (вот это-то и было нимфическим эхом, холодком наслаждения, взмылом в чреслах) что-то детское, примешивавшееся к профессиональному *frétinement* ее маленького ловкого зада. Я осведомился о ее цене, и она немедленно ответила с музыкальной серебряной точностью (птица – сущая птица!): «Cent». Я попробовал поторговатьсья, но она оценила дикое глухое желание у меня в глазах, устремленных с такой высоты на ее круглый лобик и зачаточную шляпу (букетик да бант): «*Tant pis*», произнесла она, перемигнувшись, и сделала вид, что уходит. Я подумал: ведь всего три года тому назад я мог видеть, как она возвращается домой из школы! Эта картина решила дело. Она повела меня вверх по обычной кругой лестнице с обычным сигналом звонка, уведомляющим господина, не желающего встретить другого господина, что путь свободен или несвободен – унылый путь к гнусной комнатке, состоящей из кровати и биде. Как обычно, она прежде всего потребовала свой *petit cadeau*, и, как

обычно, я спросил ее имя (Monique) и возраст (восемнадцать). Я был отлично знаком с банальными ухватками проституток: ото всех них слышишь это *dixhuit* – четкое чириканье с ноткой мечтательного обмана, которое они издают, бедняжки, до десяти раз в сутки. Но в данном случае было ясно, что Моника скорее прибавляет, чем убавляет себе годика два. Это я вывел из многих подробностей ее компактного, как бы точеного и до странности неразвитого тела. Поразительно быстро раздевшись, она постояла с минуту у окна, наполовину завернувшись в мутную кисею занавески, слушая с детским удовольствием (что в книге было бы халтурой) шарманщика, игравшего в уже налитом сумерками дворе. Когда я осмотрел ее ручки и обратил ее внимание на грязные ногти, она проговорила, простодушно нахмурясь: «*Oui, ce n'est pas bien*», – и пошла было к рукомойнику, но я сказал, что это неважно, совершенно неважно. Со своими подстриженными темными волосами, светло-серым взором и бледной кожей она была исключительно очаровательна. Бедра у нее были не шире, чем у присевшего на корточки мальчика. Более того, я без колебания могу утверждать (и вот, собственно, почему я так благодарно длю это пребывание с маленькой Моникой в кисейно-серой келье воспоминания), что из тех восьмидесяти или девяноста шлюх, которые в разное время по моей просьбе мною занимались, она была единственной, давшей мне укол истинного наслаждения. «*Il était malin, celui qui a inventé ce truc-là*», любезно заметила она и вернулась в одетое состояние с той же высокого стиля быстротой, с которой из него вышла.

Я спросил, не даст ли она мне еще одно, более основательное, свидание в тот же вечер, и она обещала встретить меня около углового кафе, прибавив, что в течение всей своей маленькой жизни никогда еще никого не надула. Мы возвратились в ту же комнату. Я не мог удержаться, чтобы не сказать ей, какая она хорошенъкая, на что она ответила скромно: «*Tu es bien gentil de dire ça*», – а потом, заметив то, что я заметил сам в зеркале, отражавшем наш тесный Эдем, а именно: ужасную гримасу нежности, искривившую мне рот, исполнительная Моника (о, она несомненно была в свое время нимфеткой!) захотела узнать, не стереть ли ей, *avant qu'on se couche*, слой краски с губ на случай, если захочу поцеловать ее. Конечно, захочу. С нею я дал себе волю в большей степени, чем с какой-либо другой молодой гетерой, и в ту ночь мое последнее впечатление от Моники и ее длинных ресниц отзывает чем-то веселым, чего нет в других воспоминаниях, связанных с моей унизительной, убогой и угрюмой половой жизнью. Вид у нее был необыкновенно довольный, когда я дал ей пятьдесят франков сверх уговора, после чего она засеменила в ночную апрельскую морось с тяжелым Гумбертом, валившим следом за ее узкой спиной. Остановившись перед витриной, она произнесла с большим смаком: «*Je vais m'acheter des bas!*» – и не дай мне бог когда-либо забыть маленький лопающийся звук детских губ этой парижаночки на слове «*bas*», произнесенном ею так сочно, что «*а*» чуть не превратилось в краткое бойкое «*о*».

Следующее наше свидание состоялось на другой день, в два пятнадцать пополудни у меня на квартире, но оно оказалось менее удовлетворительным: за ночь она как бы повзрослела, перешла в старший класс, и к тому же была сильно простужена. Заразившись от нее насморком, я отменил четвертую встречу – да, впрочем, и рад был прервать рост чувства, угрожавшего обременить меня душераздирающими грезами и вялым разочарованием. Так пускай же она останется гладкой тонкой Моникой – такой, какою она была в продолжение тех двух-трех минут, когда беспризорная нимфетка просвечивала сквозь деловитую молодую проститутку.

Мое недолгое с нею знакомство навело меня на ряд мыслей, которые, верно, покажутся довольно очевидными читателю, знающему толк в этих делах. По объявлению в непристойном журнальчике я очутился, в один предприимчивый день, в конторе некоей *Mlle Edith*, которая начала с того, что предложила мне выбрать себе спутницу жизни из собрания довольно формальных фотографий в довольно засаленном альбоме («*Regardez-moi cette belle brune?*» – уже в подвенечном платье). Когда же я оттолкнул альбом и неловко, с усилием, высказал свою преступную мечту, она посмотрела на меня, будто собираясь меня прогнать. Однако, поинтересовавшись, сколько я готов выложить, она соизволила обещать

познакомить меня с лицом, которое «могло бы устроить дело». На другой день астматическая женщина, размалеванная, говорливая, пропитанная чесноком, с почти фарсовым провансальским выговором и черными усами над лиловой губой, повела меня в свое собственное, по-видимому, обиталище и там, предварительно наделив звучным лобзанием собранные пучком кончики толстых пальцев, дабы подчеркнуть качество своего лакомого, как розанчик, товара, театрально отпахнула занавеску, за которой обнаружилась половина, служившая по всем признакам спальней большому и нетребовательному семейству; но на сцене сейчас никого не было, кроме чудовищно упитанной, смуглой, отталкивающе некрасивой девушки, лет по крайней мере пятнадцати, с малиновыми лентами в тяжелых черных косах, которая сидела на стуле и нарочито нянчила лысую куклу. Когда я отрицательно покачал головой и попытался выбраться из ловушки, сводня, учащенно лопоча, начала стягивать грязно-серую фуфайку с бюста молодой великанши, а затем, убедившись в моем решении уйти, потребовала *«son argent»*. Дверь в глубине комнаты отворилась, и двое мужчин, выйдя из кухни, где они обедали, присоединились к спору. Были они какого-то кривого сложения, с голыми шеями, чернявые; один из них был в темных очках. Маленький мальчик и замызганный, колченогий младенец замаячили где-то за ними. С наглой логичностью, присущей кошмарам, разъяренная сводня, указав на мужчину в очках, заявила, что он прежде служил в полиции – так что лучше, мол, раскошелиться. Я подошел к Марии (ибо таково было ее звездное имя), которая к тому времени преспокойно переправила свои грузные ляжки со стула в спальню на табурет за кухонным столом, чтобы там снова приняться за суп, а младенец между тем поднял с полу ему принадлежавшую куклу. В порыве жалости, сообщавшей некий драматизм моему идиотскому жесту, я сунул деньги в ее равнодушную руку. Она сдала мой дар экс-сыщику, и мне было разрешено удалиться.

7

Я не знаю, был ли альбом свахи добавочным звеном в ромашковой гирлянде судьбы, но, как бы то ни было, вскоре после этого я решил жениться. Мне пришло в голову, что ровная жизнь, домашний стол, все условности брачного быта, профилактическая однообразность постельной деятельности и – как знать – будущий рост некоторых нравственных ценностей, некоторых чисто духовных эрзацев, могли бы помочь мне – если не отделаться от порочных и опасных позывов, то по крайней мере мирно с ними справляться. Небольшое имущество, доставшееся мне после кончины отца (ничего особенного – *«Миррану»* он давно продал), в придачу к моей поразительной, хоть и несколько брутальной мужской красоте, позволило мне со спокойной уверенностью пуститься на соответствующие поиски. Хорошенько осмотревшись, я остановил свой выбор на дочери польского доктора: добряк лечил меня от сердечных перебоев и припадков головокружения. Иногда мы с ним играли в шахматы; его дочь смотрела на меня из-за мольберта и мной одолженные ей глаза или костяшки рук вставляла в ту кубистическую чепуху, которую тогдашние образованные барышни писали вместо персиков и овечек. Позволю себе повторить, тихо, но внушительно: я был и еще остался, невзирая на свои бедствия, исключительным красавцем, со сдержанными движениями, с мягкими темными волосами и как бы пасмурной, но тем более привлекательной осанкой большого тела. При такой мужественности часто случается, что в удобопоказуемых чертах субъекта отражается что-то хмурое и воспаленное, относящееся до того, что ему приходится скрывать. Так было и со мной. Увы, я отлично знал, что мне стоит только прищелкнуть пальцами, чтобы получить любую взрослую особу, избранную мной; я даже привык оказывать женщинам не слишком много внимания, боясь именно того, что та или другая плюхнется, как налитой соком плод, ко мне на холодное лоно. Если бы я был, что называется, *«средним французом»*, охочим до разряженных дам, я легко бы нашел между обезумелыми красавицами, плескавшими в мою угрюмую скалу, существо значительно более пленительное, чем моя Валерия. Но в этом

выборе я руководился соображениями, которые, по существу, сводились – как я слишком поздно понял – к жалкому компромиссу. И все это только показывает, как ужасно глуп был бедный Гумберт в любовных делах.

8

Хоть я говорил себе, что мне всего лишь нужно сублимированное *pot-au-feu* и живые ножны, однако то, что мне нравилось в Валерии – это была ее имперсонация маленькой девочки. Она прикидывалась малюткой не потому, чтобы раскусила мою тайну: таков был просто ее собственный стиль – и я попался. На самом деле этой девочке было по крайней мере под тридцать (никогда я не мог установить ее точный возраст, ибо даже ее паспорт лгал), и она давно уже рассталась со своей девственностью при обстоятельствах, менявшихся по настроению ее памяти. Я же, со своей стороны, был наивен, как только может быть наивен человек сексуальным изъяном. Она казалась какой-то пушистой и резвой, одевалась à la *gamine*, щедро показывала гладкие ноги, умела подчеркнуть белизну подъема ступни черным бархатом туфельки, и надувала губки, и переливалась ямочками, и кружилась в тирольской юбке, и встрихивала короткими белокурыми волосами самым что ни на есть трафаретным образом.

После краткого обряда в ратуше я привез ее на новую квартиру и несколько удивил ее тем, что до начала каких-либо нежностей заставил ее переодеться в простую детскую ночную сорочку, которую мне удалось украсть из платяного шкафа в сиротском доме. Брачная ночь выдалась довольно забавная, и моими стараньями дура моя к утру была в истерике. Но действительность скоро взяла верх. Обелокуренный локон выявил свой чернявый корешок; пушок превратился в колючки на бритой голени; подвижный влажный рот, как я его ни набивал любовью, обнаружил свое мизерное сходство с соответствующей частью на заветном портрете ее жабоподобной покойной матушки; и вскоре, вместо бледного уличного подростка, у Гумберта Гумберта оказалась на руках большая, дебелая, коротконогая, грудастая и совершенно безмозглая баба.

Это положение длилось с 1935-го года по 1939-й. Единственным достоинством Валерии была кротость, и как ни странно, от этого было уютно в нашей убогой квартирке: две комнатки, дымный вид в одном окне, кирпичная стена в другом, крохотная кухня, башмачной формы ванна, в которой я чувствовал себя Маратом, даром что не было белошееей девочки, чтобы меня заколоть. Мы провели с женой немало безмятежных вечеров, она – углубившись в свой «*Paris Soir*», я – работая за валким столиком. Мы посещали кино, велодром, боксовые состязания. К ее пресной плоти я обращался лишь изредка, только в минуты крайней нужды, крайнего отчаяния. У бакалейщика по ту сторону улицы была маленькая дочка, тень которой сводила меня с ума; впрочем, с помощью Валерии, я все же находил некоторые законные исходы из моей фантастической беды. Что же касается домашнего стола, то мы без слов отставили *pot-au-feu* и питались главным образом в узком ресторанчике с одним длинным столом, на rue Bonaparte, где общая скатерть была в винных пятнах и преобладал иностранный говор. А в доме рядом антиквар выставил в загроможденной витрине великолепный, цветистый – зеленый, красный, золотой и чернильно-синий – старинный американский эстамп, на котором был паровоз с гигантской трубой, большими причудливыми фонарями и огромным скотосбрасывателем, увлекающий свои фиолетовые вагоны в грозовую степную ночь и примешивающий обильный, черный, искрами поблескивающий дым к косматым ее тучам.

В них что-то блеснуло. Летом 1939-го года умер мой американский дядюшка, оставил мне ежегодный доход в несколько тысяч долларов с условием, что перееду в Соединенные Штаты и займусь делами его фирмы. Эта перспектива пришла мне чрезвычайно по сердцу. Я чувствовал, что моя жизнь нуждается в встрияске. И было еще кое-что: молевые проединки появились в плюще супружеского уюта. Последнее время я замечал, что моя толстая Валерия как-то изменилась – выказывает странное беспокойство, иногда даже нечто вроде

раздражения, а это шло вразрез с установленным характером персонажа, которого ей полагалось у меня играть. Когда я ее уведомил, что мы скоро поплывем в Нью-Йорк, она приуныла и задумалась. Была докучная возня с ее документами. У нее оказался дурацкий Нансенский паспорт, и получению визы почему-то никак не способствовало швейцарское гражданство мужа. Я объяснял необходимостью стояния в хвостах в префектуре и всячими другими неприятностями ее вялое и неотзычивое настроение, на которое никак не действовали мои описания Америки, страны розовых детей и громадных деревьев, где жизнь будет настолько лучше, чем в скучном, сером Париже.

Однажды утром (ее бумаги были уже почти приведены в порядок) мы выходили из какого-то официального здания, как вдруг вижу, что переваливающаяся со мной рядом Валерия начинает энергично и безмолвно трясти своей болоночной головой. Сначала я на это не обращал никакого внимания, но затем спросил, почему ей, собственно, кажется, что там внутри что-то есть? Она ответила (перевожу с ее французского перевода какой-то славянской плоскости): «В моей жизни есть другой человек».

Незачем говорить, что мужу не могут особенно понравиться такие слова. Меня, признаюсь, они ошеломили. Прибить ее тут же на улице – как поступил бы честный мещанин – было нельзя. Годы затаенных страданий меня научили самообладанию сверхчеловеческому. Итак, я поскорее сел с ней в таксомотор, который уже некоторое время пригласительно полз вдоль панели, и в этом сравнительном уединении спокойно предложил ей объяснить свои дикие слова. Меня душило растущее бешенство – о, не потому что я испытывал какие-либо нежные чувства к балаганной фигуре, именуемой мадам Гумберт, но потому что никому, кроме меня, не полагалось разрешать проблемы законных и незаконных совокуплений, а тут Валерия, моя фарсовая супруга, нахально собралась располагать по своему усмотрению и моими удобствами, и мою судьбой. Я потребовал, чтобы она мне назвала любовника. Я повторил вопрос; но она не прерывала своей клоунской болтовни, продолжая тараторить о том, как она несчастна со мной и что хочет немедленно со мной разводиться. «*Mais qui est-ce?*», заорал я наконец, кулаком хватив ее по колену, и она, даже не поморщившись, уставилась на меня, точно ответ был так прост, что объяснений не требовалось. Затем быстро пожала плечом и указала пальцем на мясистый затылок шофера. Тот затормозил у небольшого кафе и представился. Не могу вспомнить его смехотворную фамилию, но после стольких лет он мне видится еще совсем ясно – коренастый русак, бывший полковник Белой армии, пышноусый, остриженный ежиком. (Таких, как он, не одна тысяча занималась этим дурацким промыслом в Париже.) Мы сели за столик, белогвардец заказал вина, а Валерия, приложив к колену намоченную салфетку, продолжала говорить – в меня, скорее, чем со мной: в сей величественный сосуд она всыпала слова с безудержностью, которой я и не подозревал в ней, причем то и дело разражалась залпом польских или русских фраз в направлении своего невозмутимого любовника. Положение получалось абсурдное, и оно сделалось еще абсурднее, когда таксомоторный полковник, с хозяйствской улыбкой остановив Валерию, начал развивать собственные domыслы и замыслы. Выражаясь на отвратительном французском языке, он наметил тот мир любви и труда, в который собирался вступить рука об руку с малюткой женой. Она же теперь занялась своей внешностью, сидячи между ним и мной: подкрашивала выпученные губки, поправляла клевками пальцев (при этом утраивая подбородок) передок блузки, и так далее, а он между тем говорил о ней, не только как если бы ее не было с нами, но так, как если бы она была сироткой, которую как раз переводили ради ее же блага от одного мудрого опекуна к другому, мудрейшему; и хотя испытываемый мною беспомощный гнев преувеличивал и коверкал, может быть, все впечатления, я могу поклясться, что полковник преспокойно советовался со мной по поводу таких вещей, как ее диета, регулы, гардероб и книжки, которые она уже читала или должна была бы прочитать. «Мне кажется», говорил он, «ей понравится “Жан-Кристофф” – как вы думаете?» О, он был сущий литературовед, этот господин Таксович.

Я положил конец его жужжанию тем, что предложил Валерии уложить свои жалкие пожитки немедленно, на что пошляк полковник галантно заявил, что охотно сам перенесет

их в свою машину. Вернувшись к исправлению должности, он повез Гумбертов, мосье и мадам, домой, и во весь путь Валерия говорила, а Гумберт Грозный внутренне обсуждал с Гумбертом Кротким, кого именно убьет Гумберт Гумберт – ее, или ее возлюбленного, или обоих, или никого. Помнится, я однажды имел в руках пистолет, принадлежавший студенту-однокашнику, в ту пору моей жизни (я, кажется, об этой поре не упомянул, но это неважно), когда я лелеял мысль насладиться его маленькой сестрой (необыкновенно лучистой нимфеткой, с большим черным бантом) и потом застрелиться. Теперь же я спрашивал себя, стоила ли Валечка (как ее называл полковник) того, чтобы быть пристреленной, задущенной или утопленной. У нее были очень чувствительные руки и ноги, и я решил ограничиться тем, что сделаю ей ужасно больно, как только мы останемся наедине.

Но этого не суждено было. Валечка – уже к этому времени проливавшая потоки слез, окрашенные размазанной радугой ее косметики – принялась набивать вещами кое-как сундук, два чемодана, лопавшуюся картонку, – и желание надеть горные сапоги и с разбега пнуть ее в круп было, конечно, неосуществимо, покамест проклятый полковник возился поблизости. Не то чтобы он вел себя нагло или что-нибудь в этом роде: напротив, он проявлял (как бы на боковой сцене того театра, в который меня залучили) деликатную старосоветскую учтивость, причем сопровождал всякое свое движение неправильно произносимыми извинениями (же деманд пардон... эске же пуй...) и с большим тактом отворачивался, пока Валечка сдирала свои розовые штанишки с веревки над ванной; но мерзавец находился, казалось, одновременно всюду, приспособляя состав своей к анатомии квартиры, читая мою газету в моем же кресле, развязывая узлы на веревке, сворачивая себе папиросу, считая чайные ложечки, посещая уборную, помогая своей девке завернуть электрическую сушилку для волос (подарок ее отца) и вынося на улицу ее рухлядь. Я сидел, сложив руки, одним бедром на подоконнике, погибая от скуки и ненависти. Наконец оба они вышли из дрожавшей квартиры – вибрация двери, захлопнутой мною, долго отзывалась у меня в каждом нерве, что было слабой заменой той заслуженной оплеухи наотмашь по скуле, которую она бы получила на экране по всем правилам теперешних кинокартин. Неуклюже играя свою роль, я прошествовал в ванную, дабы проверить, не увезли ли они моего английского одеколона; нет, не увезли; но я заметил с судорогой злобного отвращения, что бывший советник царя, основательно опорожнив мочевой пузырь, не спустил воду. Эта торжественная лужа захожей урины с разлезающимся в ней вымокшим темно-желтым окурком показалась мне высшим оскорблением, и я дико огляделся, ища оружия. На самом деле, вероятно, не что иное, как русская мещанская вежливость (с примесью пожалуй чего-то азиатского), подвигнуло доброго полковника (Максимовича! – его фамилия вдруг прикатила обратно ко мне), очень чопорного человека, как все русские, на то, чтобы отправить интимную нужду с приличной беззвучностью, не подчеркнув малую площадь чужой квартиры путем низвержения громогласного водопада поверх собственной приглушенной струйки. Но это не пришло мне на ум в ту минуту, когда, мыча от ярости, я рыскал по кухне в поисках чего-нибудь повнушительнее метлы. Вдруг, бросив это, я ринулся из дома с героическим намерением напасть на него, полагаясь на одни кулаки. Несмотря на природную мою силу, я однако вовсе не боксер, меж тем как низкорослый, но широкоплечий Максимович казался вылитым из чугуна. Пустота улицы, где отъезд моей жены не был ничем от празднован, кроме как в грязи горевшей стразовой пуговицей (оброненной после того, что она хранила ее три никому не нужных года в сломанной шкатулке), вероятно, спасла меня от разбитого в кровь носа. Но все равно: венный срок я был отомщен. Человек из Пасадены сказал мне как-то, что миссис Максимович, рожденная Зборовская, умерла от родов в 1945-ом году. Она с мужем каким-то образом попала из Франции в Калифорнию; там, в продолжение целого года, за отличный оклад, они служили объектами опыта, производившегося известным американским этнологом. Опыт имел целью установить человеческие (индивидуальные и расовые) реакции на питание одними бананами и финиками при постоянном пребывании на четвереньках. Мой осведомитель, по профессии

доктор, клялся мне, что видел своими глазами обоих – тучную Валечку и ее полковника, к тому времени поседевшего и тоже сильно потолстевшего, – прилежно ползающими по полированным полам через ряд ярко освещенных помещений (в одном были фрукты, в другом вода, в третьем подстилки и т. д.) в обществе нескольких других наемных четвероногих, набранных из бедствующих и беззащитных слоев. Я тогда же пробовал отыскать в антропологическом журнале результаты этих испытаний, но, по-видимому, они еще не были опубликованы. Разумеется, этим научным плодам нужно время для полного созревания. Надеюсь, что отчет будет иллюстрирован хорошими фотографиями, когда он появится, хотя не очень вероятно, чтобы тюремные библиотеки получали такого рода ученые труды. Та, которой я принужден ныне пользоваться, служит отличным примером нелепого эклектизма, руководящего выбором книг в учреждениях этого рода. Тут есть Библия, конечно, и есть Диккенс (старое многотомное издание Дилингама, Нью-Йорк, MDCCCLXXXVII); есть и «Детская Энциклопедия» (в которой попадаются довольно милые фотографии солнечноволосых герл-скаутов в трусиках), есть и детективный роман Агаты Кристи «Объявлено Убийство»; но, кроме того, есть такие пустячки, как «Бродяга в Италии» Перси Эльфинстона, автора «Снова Венеция», Бостон, 1868, и сравнительно недавний (1946) «Who's Who in the Limelight» – перечень актеров, режиссеров, драматургов и снимки статических сцен. Просматривая вчера последнюю из упомянутых книг, я был награжден одним из тех ослепительных совпадений, которых логик не терпит, а поэт обожает. Переписываю большую часть страницы:

Пим, Роланд. Родился в Лунди, Массачусетс, 1922. По-лучил сценическое образование в Эльсинорском Театре, Дерби, Нью-Йорк. Дебютировал в «Прорвавшемся Солнце». Среди множества других пьес, в которых он играл, были: «В Соседнем Квартале», «Девушка в Зеленом», «Перетасованные Мужья», «Странный Гриб», «На Волоске», «Джон Ловли», «Ты Снилась Мне».

Куилти, Клэр. Американский драматург. Родился в Ошан Сити, Нью-Джерси, 1911. Окончил Колумбийский Университет. Начал работать по коммерческой линии, но потом обратился к писанию пьес. Автор «Маленькой Нимфы», «Дамы, Любившей Молнию» (в сотрудничестве с Вивиан Дамор-Блок), «Темных Лет», «Странного Гриба», «Любви Отца» и других. Достойны внимания его многочисленные пьесы для детей. «Маленькая Нимфа» (1940) выдержала турне в 14.000 миль и давалась 280 раз в провинции за одну зиму, прежде чем дойти до Нью-Йорка. Любимые развлечения: полугоночные автомобили, фотография, домашние зверьки.

Квайн, Долорес. Родилась в 1882-ом году в Дэйтоне, Огайо. Изучала сценическое искусство в Американской Академии. Дебютировала в Оттаве, в 1900-ом году. Дебют в Нью-Йорке состоялся в 1904-ом году в «Не Разговаривай с Чужими». С тех пор пропала в таких-то пьесах...

Какой беспомощной мукой терзаюсь при одном виде имени моей милой любви, даже тут, при фамилии какой-то гнусной старой комедиантки! Ведь, может быть, и она стала бы актрисой! Родилась в 1935-ом году, выступала (кстати, вижу, что в конце предыдущего параграфа у меня описка – но, пожалуйста, не поправляйте, уважаемый издатель) в «Убитом Драматурге». Квайн-Швайн. Убил ты Куилты. О, Лолита моя, все, что могу теперь, – это играть словами.

9

Канитель с разводом заставила меня отложить отплытие, и мрак еще одной Мировой войны уже окутал земной шар, когда, после скучной зимы в Португалии, где я перенес воспаление легких, я наконец достиг берегов Америки. В Нью-Йорке я охотно принял предлагаемую судьбой легкую службу: она заключалась главным образом в изобретении и редактировании парфюмерных объявлений. Я приветствовал ее поверхностный характер и

псевдолитературный налет и занимался ею кое-как, когда вздумается. С другой стороны, новый, военного времени, университет в Нью-Йорке уговаривал меня дописать мою сравнительную историю французской литературы. Первый том занял у меня года два работы, причем я редкий день трудился меньше пятнадцати часов. Оглядываясь на этот период, я вижу его аккуратно разделенным на просторный свет и узкую тень: свет относится к радостям изысканий в чертогах библиотек; тень – к пытке желаний, к бессоннице – словом, к тому, о чем я уже достаточно поговорил. Знакомый со мною читатель легко себе представит, как усердно, в пыльную жару, я высматривал – увы, всегда издали – нимфеток, играющих в Центральном Парке, и как мне были отвратительны декоративные, дезодоризованные секретарши и конторщицы, которыми один из шутников у нас в деле все старался меня прельстить. Опустим все это. Гибельный упадок душевных сил привел меня в санаторию на полтора года; я вернулся к работе – и вскоре опять занемог.

Выздоровление могла обещать бодрая жизнь на вольном воздухе. Любимый мой врач, очаровательный циник с короткой темной бородкой, познакомил меня со своим братом, который собирался вести экспедицию в приполярные области Канады. Я к ней был прикомандирован в качестве «наблюдателя за психическими реакциями». От времени до времени я делил (не очень, впрочем, успешно) с двумя молодыми ботаниками и старым плотником пухлявые прелести одной из наших специалисток по питанию, докторши Аниты Джонсон – которую вскоре услали на самолете восвояси, о чем вспоминаю с удовольствием. Цель экспедиции не представлялась мне ясно. Судя по многочисленности метеорологов, участвовавших в ней, можно было подумать, что мы прослеживаем к его берлоге (где-то, по-видимому, на острове Принца Уэльского) блуждающий и шаткий северный магнитный полюс. Одна из групп основала с помощью канадцев метеорологическую станцию на Пьеровой Стрелке в Мельвильском Зунде. Другая, тоже заблуждавшаяся группа собирала планктон. Третья изучала связь между туберкулезом и тундрой. Берт, фильмовой фотограф, очень неуверенный в себе тип, вместе с которым меня заставляли одно время усиленно заниматься физическим трудом (у него, как и у меня, были психические нелады), уверял, что «большие люди» в нашей экспедиции, настоящие ее руководители, которых мы никогда не видали, имели целью проверить влияние климатического потепления на мех полярной лисы.

Мы жили в разборных избах среди докембрийского гранитного мира. У нас была уйма припасов – комплект «Reader's Digest», мешалка для мороженого, химические клозеты, колпаки из цветной бумаги, чтобы справлять Рождество. Я удивительно хорошо поправился, несмотря на неописуемую пустоту и скуку жизни. Окруженный унылой растительностью Арктики – мелким ивняком, лишайниками, – пронизанный и, как полагаю, прочищенный свистящим ветром, я сидел, бывало, на круглом камне, под совершенно прозрачным небом (сквозь которое, однако, не просвечивало ничего важного) и чувствовал себя до странности отчужденным от своего «я». Упитанные, лоснистые маленькие эскимоски с лицами морских свинок, рыбным запахом и отталкивающей вороньей чернотой прямых волос взвуждали во мне даже меньше вожделения, чем Джонсон. Нимфетки не водятся в арктических областях.

Я предоставил более знающим людям анализировать дрейфование льдов, друмлины, гремлины, кремлины, и некоторое время пытался записывать то, что я простодушно принимал за «психические реакции» (я заметил, например, что при полночном солнце сновидения бывают ярко окрашены, что подтвердил мой друг фотограф). Кроме того, мне полагалось допрашивать разных своих товарищей о множестве предметов, каковы: ностальгия, боязнь неизвестных зверей, гастрономические и половые мечтания, любимые развлечения, любимые радиопрограммы, изменения в образе мыслей и так далее. Всем это так приелося, что я бросил – и только в конце моей двадцатимесячной «приполярной каторги» (как шутливо выразился один из ботаников) настроил сплошь выдуманный и очень красочный рапорт; любопытный читатель найдет его напечатанным в «Annals of Adult Psychophysics» за 1945 или 1946 год, а также в выпуске «Arctic Explorations», посвященном нашей экспедиции – которая, замечу в заключение, не имела в действительности никакого

отношения к медным залежам на острове Виктория и тому подобным пустякам, как мне впоследствии удалось узнать от моего благодушного врача, ибо настоящая цель экспедиции была, как говорится, «секретного» порядка, и посему позволю себе только добавить, что в чем бы цель ни была, она была полностью достигнута.

Читатель узнает с сожалением, что вскоре по моем возвращении в цивилизованный мир мне пришлось снова бороться с помрачением рассудка (если только это жестокое определение применимо к меланхолии и чувству невыносимого томления). Окончательным выздоровлением я обязан открытию, сделанному мной во время лечения в очень дорогой санатории. Я открыл неисчерпаемый источник здоровой потехи в том, чтобы разыгрывать психиатров, хитро поддакивая им, никогда не давая им заметить, что знаешь все их профессиональные штуки, придумывая им в угоду вещие сны в чистоклассическом стиле (которые заставляли их самих, вымогателей снов, видеть сны и по ночам просыпаться с криком), дразня их подложными воспоминаниями о будто бы подсмотренных «исконных сценах» родительского сожительства и не позволяя им даже отдаленно догадываться о действительной беде их пациента. Подкупив сестру, я получил доступ к архивам лечебницы и там нашел, не без смеха, фишку, обзывавшую меня «потенциальному гомосексуалистом» и «абсолютным импотентом». Эта забава мне так нравилась, и действие ее на меня было столь благотворным, что я остался лишний месяц после выздоровления (причем чудно спал и ел с аппетитом школьницы). А после этого я еще прикинул недельку единственно ради того, чтобы иметь удовольствие потягаться с могучим новым профессором из «перемещенных лиц», или Ди-Пи (от «Дементии Прекокс»), очень знаменитым, который славился тем, что умел заставить больного поверить, что тот был свидетелем собственного зачатия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочтите эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.